

Пьер-Шарль Левек

О препятствиях, которые древние философы поставили прогрессу здоровой философии

Мемуар из первого тома собрания статей второго класса Ин-
ститута Франции

Перевод с французского

Оригинальное издание 1798 года.

Echafaud - 2026

Философия — это не наука о природе, не наука о мерах и не наука о числах; ведь можно в высшей степени владеть этими полезными науками и при этом быть очень далеким от того, чтобы заслужить имя философа. Она не заключается в достойном поведении; ведь человек может обладать безупречными нравами, имея при этом неразвитый ум и разум, лишенный упражнения. Она также не состоит в знании моральных принципов; ведь можно натренировать память для заучивания этих принципов и хранить их лишь в памяти: подтверждением тому служит Периандр, тиран Коринфа, знаменитый мудростью своих изречений и жестокостью своих поступков.

Философия, то есть любовь к мудрости, — это и есть сама мудрость; она же представляет собой не что иное, как разум здравый и свободный от заблуждений, насколько человеческому разуму вообще дано от них уберечься. Кроме того, необходимо, чтобы мудрость распространялась на множество предметов; ведь мы не признаем мудрейшим из людей того, кто совершает меньше всего ошибок лишь потому, что обладает наименьшим запасом идей. В таком случае истинного мудреца пришлось бы искать среди тех еще диких людей, в которых едва можно различить первые зачатки наших способностей.

Казалось бы, с самого своего возникновения люди должны были делать лишь уверенные шаги к философии, и первым из этих шагов должно было стать то свидетельство, которое они дали сами себе о своих ощущениях.

В самом деле, поскольку люди не могут познавать ничего, кроме как через **чувства**, а чувства, благодаря своей взаимной поддержке, исправляют ошибки друг друга, можно было бы подумать, что им надлежало познавать одни лишь истины. Так как разум вполне успешно справляется с предметами, о которых он имеет точное знание, следовало бы ожидать, что первые люди заложат фундамент философии, и это здание будет расти из поколения в поколение благодаря последовательным открытиям всех тех людей, что пришли вслед за первыми основателями.

Однако развитие человеческого разума шло иначе. Человек не только способен воспринимать ощущения и осознавать их.

Будь его природа такова, он всегда обладал бы лишь одной-единственной идеей — идеей того ощущения, которое он испытывает в текущий момент.

Но он обладает способностью вспоминать ощущения, которые он получил, и, следовательно, способность предвидеть, что он сможет получить подобные ощущения снова.

Он обладает **воображением** — это значит, что из множества идей, полученных через ощущения и сохраненных в памяти, он может составлять новые идеи. В этих сочетаниях он может ошибаться, соединяя разрозненные идеи и создавая из их союза образ, который невозможно встретить в природе. Так, чувства дали представление о женщине, человеческом голосе, льве и орле, а воображение создало из них

чудовище с человеческим голосом, чертами орла, женщины и льва,

хотя подобное существо никогда не существовало и никогда не сможет существовать.

С помощью воображения люди создавали комбинации идей, которые принимали за подлинные знания; они мнили себя просвещенными в том, для изучения чего еще не имели средств, и даже в том, что никогда не станет объектом нашего познания. Зная лишь крохотный клочок земли, они составляли описания Вселенной — космографии; не ведая даже состава того края, где сами жили, и не понимая, как сформировался верхний слой почвы под их ногами, они создавали теории происхождения мира — космогонии. Несколько раз верно подметив причины, вызывавшие определенные следствия, люди пожелали узнать причины всех явлений без исключения. А поскольку найти их часто было трудно, а порой и невозможно, они выдумывали причины, которые на самом деле причинами вовсе не являлись.

Поскольку человек способен познавать лишь то, что доступно какому-либо из его органов чувств, тогда выходит, что если в природе и существуют вещи, которые могут быть воспри-

няты лишь с помощью отсутствующего у нас чувства, тогда **такие вещи для нас не существуют**. Тем не менее, когда люди не могли обнаружить в объектах, подвластных чувствам, причины поразивших их явлений, они начинали искать их в существах, чувствам не подвластных. Они создавали этих существ силой своего воображения, либо преувеличивая и приписывая им те качества, которыми обладали сами, либо, напротив, отрицая наличие у этих существ определенных свойств. Таким образом, именно на основе представлений, полученных через органы чувств — представлений либо гипертрофированных, либо исключаящих какие-то качества, — они в итоге сформировали образы неких существ, о чьем существовании ни одно из их чувств им не свидетельствовало. Таково было происхождение ложных богов.

Вероятно, в эти заблуждения их ввергло поначалу не праздное любопытство, а забота о собственном благополучии. Среди ощущений, которые они испытывали, были и болезненные. Человек, сохранивший память об этих ощущениях, замечал, что они имеют свой предел, и, чтобы приблизить этот конец, он измышлял средства, не имевшие никакой связи с тем результатом, который он им приписывал. Так, в самых диких племенах люди верят, что другие люди — такие же слабые и невежественные, как они сами, но почитаемые ими за колдунов, — смогут с помощью слов и странных церемоний прогонять беды, которые они уже испытывают или которых только боятся. Колдуны появились раньше религиозных идей: их находили даже в тех племенах, где не удалось обнаружить никаких следов религии.

Но когда человеческое воображение создало существ, чье существование невозможно было воспринять ни одним из органов чувств, и когда эти рожденные фантазией существа внушили людям ужас, колдун сумел убедить соплеменников, что обладает властью над этими могущественными созданиями. Тем самым он сам приобрел над своим племенем власть, которая была тем более неодолимой, что опиралась на иллюзию.

Сначала колдуны воспользовались болью и страхом, которые вызывали у людей физические недуги; они пообещали отвращать или исцелять эти болезни средствами, не имевшими

никакого отношения к тем результатам, которые им приписывались. Так они стали первыми врачами.

После возникновения религиозных представлений колдуны завладели и ими. Они уже злоупотребляли доверием своего племени, и им не составило труда продолжить это и далее. Они хвалились тем, что поддерживают близкое общение с высшими невидимыми существами, могут смягчать их гнев молитвами, повелевать ими с помощью заклинаний, задабривать их подношениями и подпитывать жертвами. Они стали первыми прорицателями, первыми совершителями жертвоприношений, первыми жрецами.

Когда представления племени расширились, не став при этом более точными, они систематизировали религиозные идеи, превратили догматы и обряды в подобие науки и стали первыми теологами. В конечном счете, ловко используя всё, что могло дать им власть над себе подобными, они собрали — насколько это было возможно — всё, что люди знали, что они мнили знанием и даже то, чего они знать не могли, и стали первыми философами. То были философы, которые и сами заблуждались, и вводили в заблуждение других. Ослепленные ложным светом своих знаний, они были заинтересованы в том, чтобы раскрывать свою науку лишь по крупницам ради восхищения толпы, и одновременно поддерживать всеобщее невежество, чтобы всегда оставаться объектом этого восхищения.

Именно на выявление и уничтожение причин этих ошибок должна быть направлена истинная философия. Однако на заре своего существования философия, будучи еще слепой, приняла их все и положила в основу своих принципов. Она сохраняла их даже по мере своего развития, и чем дальше она продвигалась по выбранному ложному пути, тем сильнее продолжала сбиваться с курса.

Эти заблуждения в их первобытной форме возникли в великой мастерской человеческого рода — на высокогорьях Татари. Оттуда они спустились в Индию, где приняли величественный облик науки, затем распространились по Азии и утвердились в Египте. Мы увидим, как они проникли в Европу и стали фундаментом того, что долгое время называли философией.

Греки, чей язык уже тогда был богатым, ясным и точным, в те времена, когда простота их нравов позволяла бы нам причислить их к народам, которых мы называем варварскими, уже тогда обладали самым благоприятным инструментом для правильного использования своего разума. Ведь не стоит заблуждаться: для развития нашего интеллекта далеко не безразлично, пользуемся ли мы бедным или богатым, хорошо или плохо структурированным языком.

Поскольку слова — это инструменты, с помощью которых мы делаем умозрительные идеи доступными для восприятия чувствами; поскольку именно с помощью слов мы сами формируем свои мысли, передаем их другим, комбинируем, разделяем, объединяем, сравниваем и, в некотором роде, манипулируем ими, — бедность языка неизбежно вредит богатству наших идей. Плохо структурированный язык не позволит нам ни донести их до окружающих, ни представить их самим себе во всей полноте и ясности. Поэтому мы и видим, что человеческий разум расширяется и совершенствуется лишь при помощи уже развитых языков, а с языками варварскими интеллект сам остается в состоянии варварства. Языки обогащаются за счет обилия идей и становятся точными благодаря их ясности. Богатство и красота греческого языка, заметные уже со времен Гомера, доказывают, что греки уже тогда в полной мере и с большой пользой применяли свои интеллектуальные способности. Даже те, кто обладает лишь поверхностными знаниями греческого, знают, какой ум, какая пронизательность и какая точность проявляются в сочетании слов, из которых образуются сложные лексемы, составляющие основу его богатства. Те, кто посвятил себя его разбору, сведению к простейшим элементам и изначальным принципам, чтобы проследить его структуру, неизменно основанную на аналогии, ещё больше восхищаются философской красотой этого языка.

Поэтому мы видим довольно продолжительный период времени, когда разум греков казался здоровым и в то же время столь же обширным, насколько это позволяли тогдашние скромные успехи в торговле и искусствах. Я не стану призывать

в свидетели поэзию Гомера, так как это вовлекло бы меня в подробности, которые я не могу здесь себе позволить. Потребовалось бы целое исследование, чтобы показать, что мифология Гомера никогда не была теологией греков, хотя некоторые из них, по-видимому, и сами заблуждались на этот счёт; что следует тщательно остерегаться смешения мифологических богов с богами теологическими, хотя и те и другие называются одними и теми же именами. Тот Юпитер, Бахус, Геркулес и Эскулап, которым воздвигали алтари, не были тем самым Юпитером, которого драматические поэты изображали узурпатором и тираном, трепещущим от страха быть в свою очередь свергнутым с престола (Эсхил, «Прометей»); тем самым Бахусом, который получал удары палками на сцене (Аристофан, «Лягушки»); тем пьяницей и обжорой Геркулесом, который, будучи отправлен богами в качестве посла, предал их интересы ради обеда (Аристофан, «Птицы»); или тем Эскулапом, которого Аристофан называет «поедателем экскрементов» (Аристофан, «Плутос»). Теологические боги — или, вернее, единый Бог, обозначаемый разными именами в соответствии со своими различными атрибутами, — был объектом почитания; мифологические же боги были оставлены на волю блестящего или игривого воображения поэтов.

Если я оставляю здесь в стороне поэмы Гомера, я также не буду говорить о тех людях, которые носили звание мудрецов, потому что в целом они нам слишком мало известны; но, что сводится к тому же самому, я обозначу эпоху и продолжительность этого периода именами Гесиода, современника Гомера, и Феогнида, который мог знать тех, кого называют мудрецами. Эта длительность составляет примерно три столетия. В течение этого промежутка времени разум не впадал в большие заблуждения, поскольку он соблюдал предписанные ему границы и вовсе не стремился упражняться на предметах, достичь которых ему не дозволено.

Возможно, считалось, что всё существующее имело своим первоначалом воду; это мнение должно было принадлежать древнейшим наблюдателям. В самом деле, так как представля-

ется доказанным, что воды покрывали всю землю, люди, рожденные на той части суши, которую воды покинули первой, и видевшие, как она расширяется по мере их последовательного отступления, должны были полагать, что воды являются первоначалом земли и всего, что рождается на её поверхности. Именно следуя этому мнению, Гомер говорил, что Океан породил богов:

Ωκεανόν τε θεῶν γένεσιν.
(Илиада, кн. XIV, ст. 201)

Возможно также, они приписывали движение, жизнь всего сущего — огню, первоначало которого они видели в солнце; он был душой мира, богом, который всё видит и всё слышит:

Гелиос, ты, что всё видишь и всё слышишь...
(Илиада, кн. III, ст. 277)

Возможно, они верили, вслед за Гесиодом, что некие силы, стоящие ниже верховного божества, но выше человека, следят за поступками смертных («Труды и дни», ст. 252); возможно также, вместе с тем же Гесиодом они полагали, что человеческий род прошел через разные века и, будучи поначалу счастливым, постепенно опустился до того состояния нужды, свидетелями которого они были («Труды и дни», ст. 108 и след.). Они знали, что наделены разумом, но не пытались выяснить, является ли их интеллект результатом их физического устройства или же это особая способность некоего существа, которое невозможно воспринять органами чувств и которое связано с их ощущаемым естеством. По всей видимости, они верили лишь в то, что виновные будут наказаны еще в этой жизни — либо сами, либо в лице своего потомства; но они не имели никакого представления о загробной жизни («Труды и дни», ст. 225). Наконец, не похоже, чтобы хоть одно из мнений, которые мы только что рассмотрели, становилось предметом их философских раз-

мышлений. Нравственные истины, блистающие своей простотой, и правила, полезные для управления народами, — таковы были плоды их изысканий.

Какую признательность философия должна была бы питать к грекам, если бы они и дальше продолжали соразмерять свой разум с этой счастливой простотой, направляя её среди развития общества, торговли и искусств, основываясь на наблюдении за природой; если бы они велели ей останавливаться там, где проходит предел наблюдения и тех знаний, в достоверности которых мы можем убедиться сами! Однако, будучи слишком живыми, чтобы пребывать в спокойствии, которое они приняли бы за вялость; слишком тщеславными, чтобы предпочесть благородную гордость обладания истиной суетному желанию блеснуть ложью; слишком любопытными, чтобы довольствоваться лишь тем, что нам дозволено знать, — они заблудились в пустых фантазиях воображения. Более того, то, что казалось плодом их собственного воображения, на самом деле было лишь уроками, полученными ими в Египте от некоторых жрецов в городе Солнца.¹

Человеком, который более всех способствовал заблуждению человеческого разума, был **Пифагор**. Обладая внушительной внешностью и талантами, способными очаровывать, он надолго покинул родину, чтобы отправиться на поиски в Азию и на берега Нила — за знаниями, которые он не мог почерпнуть в Греции, или, вернее, за заблуждениями, которые еще здравый ум его соотечественников не смог бы породить. В награду за свои труды он привез лишь несовершенные откровения, выведенные у египетских жрецов — людей, возможно, и ученых, но которые из корысти и гордыни стремились сохранить знание исключительно для себя и, в силу своего положения, не могли быть склонны к откровениям. Воспитанный жрецами, Пифагор превратил своих учеников в своего рода монахов: принудил их к молчанию, подчинил тем же правилам воздержания, что соблюдали египетские служители культа, и заставил отказаться

¹ Камбиз разрушил храмы Гелиополя, велел уничтожить иероглифы и подверг жрецов жестокому преследованию, следствием которых неизбежно стало невежество.

от собственности — хотя именно стремление к обретению и сохранению имущества дает людям столько жизненной энергии. Он подчинил их законам религиозного таинства, выделил среди прочих особым одеянием, подобающим их ордену, и создал обширную обитель восторженных приверженцев. По его слову природа населилась высшими сущностями, распределенными по различным иерархиям: богами, демонами, душами и героями. Он «постиг», что представляет собой Бог,² что есть душа, откуда она возникла и что с ней станет; словом, он знал всё то, чего люди не узнают никогда, и сделал это знание основой своего учения.

Со временем его легковверные последователи стали надеяться, что путем истязания плоти и литургических обрядов они смогут вступить в общение с высшими, умопостигаемыми сущностями и сами превратятся в бессмертных богов. Мораль, столь простая и чистая в устах первых мудрецов, оказалась окутана невнятным жаргоном. Пифагор облек ее в символические выражения; с тем же успехом ее правила можно было бы записать египетскими иероглифами. Если верить тем, кто донес до нас отдельные положения его учения, он не становился более убедительным для разума даже тогда, когда выражался без иносказаний. По его словам, мы должны любить своих отцов и матерей, потому что они олицетворяют для нас бессмертных

² Если устройство мира и смогло внушить людям мысль о Творце, то знают они его лишь по его творению, которое и само-то известно им весьма несовершенно. Этот верховный мастер, сей возвышенный демиург недоступен ни одному из наших чувств; а поскольку он ускользает от любых наблюдений, он не может быть предметом наших философских рассуждений. Пытаясь составить представление о его сущности и отсекая при этом множество качеств, составляющих несовершенство человека, мы всё равно наделяем его человеческими чертами. Поскольку человек гневлив, мы говорим о гневе Божиим; поскольку человек мстителен, мы превращаем его в Бога-мстителя; поскольку люди ведут войны, мы делаем его Богом воинств; поскольку, истощенные долгими битвами, они начинают дорожить покоем, мы провозглашаем его Богом мира; поскольку в своей слабости они нуждаются в защите сурового правосудия, мы создаем Бога, грозного в своей справедливости; и поскольку они часто нуждаются в милосердии, мы творим Бога милосердного. Мы приписываем ему способность любить и ненавидеть, строить замыслы и раскаиваться в них; и не успеем мы начать говорить о нем, как тут же перестаем понимать друг друга.

богов; мы должны любить своих близких, так как они являются для нас образом духов-гениев. Неужели именно на таких доводах мудрец должен основывать принципы нашего долга?

Даже те истины, которые он перенял у чужеземцев, оставались для него лишь туманными мнениями, поскольку он не знал доказательств, на которых они основывались. Так, он сам — или, по крайней мере, **Гикет Сиракузский**, один из его учеников, — полагал, что Земля вращается вокруг Солнца, что существуют антиподы, что Солнце находится в центре мира, а звезды — это такие же солнца, предназначенные освещать вращающиеся вокруг них земли. Но если бы они знали доказательства этих истин, то раскрыли бы их своим слушателям; и тогда эти истины были бы признаны древними так же, как их признали люди нового времени, едва им были представлены доказательства. Поскольку эти истины продолжали казаться древним сомнительными, поскольку их оспаривали и отрицали, совершенно очевидно, что провозглашавшие их философы не умели подкрепить их доказательствами, которые заставили бы признать их правоту. Однако можно полагать, что эти доказательства были известны чужеземцам, которые давали грекам лишь поверхностные уроки и ограничивались тем, что сообщали им голые результаты своих научных открытий.

Египетские жрецы, вынужденные, возможно, считаться с фанатичным невежеством своего народа, окружали глубокой тайной всё, что они знали или считали, что знают. Они подвергали суровым испытаниям тех, кто желал приобщиться к их секретам, и изъяснялись исключительно иносказаниями. Мы готовы допустить, что у них были на то оправдания, но разве у Пифагора были те же причины вести себя подобным образом? Разве не должен был он чувствовать, что ничто так не противоречит мудрости, как таинственность, и что нельзя, не совершая проступка, скрывать то, что полезно? Однако такова была практика его учителей; будучи их верным последователем, он не мог не считать её священной. Его ученики проявляли такую же покорность по отношению к его урокам. Не допуская никакой проверки или обсуждения, им было достаточно услышать

фразу «Он сам это сказал», чтобы принять его принципы с религиозным почтением; в такой атмосфере любое сомнение стало бы преступным.

Так будет происходить всегда, когда наука хранится внутри одной корпорации как некое тайное достояние: она перестанет развиваться, как только руководители этого сообщества решат, что она достигла совершенства; а они не замедлят вскоре прийти к такому убеждению, поскольку тщеславие внушит им веру в собственное всезнание и в то, что к их накопленным познаниям уже нечего добавить. Научные принципы перестанут быть предметом дискуссий: они превратятся в законы, в священные оракулы, перед которыми каждый будет обязан слепо склонить свой разум. Наблюдения и размышления будут заброшены, ибо возобладает мнение, будто время, когда они были необходимы, давно прошло. Науку станут преподавать как истину в последней инстанции, а не как предмет, который может быть подвергнут критике. Любое, даже самое ничтожное сомнение станет вызывать опасения; его будут приписывать скорее собственному невежеству, нежели проницательности ума. В трудных случаях станут обращаться к учителю; он вынесет вердикт, и вся школа хором воскликнет: «Сам сказал!» — и на этом затруднение будет считаться разрешенным. Авторитет станет решать всё, а разум будет безмолвствовать.

Почти у всех греческих философов мы найдем либо последователей Пифагора, либо плагиаторов его доктрины — при том, что сам он заимствовал её у египетских жрецов. Это заимствованное, а затем тысячекратно прокомментированное учение должно было казаться чрезвычайно захватывающим для греков, которые уже тогда стояли намного выше всех прочих народов благодаря своему вкусу, талантам и гению, но еще не обладали иной наукой, кроме немногих древних преданий. Одни из этих преданий были принесены северными колониями, с которых началось заселение Греции, другие — колониями финикийскими и египетскими. К ложным урокам о природе, которую никто и не думал наблюдать, были привязаны

уроки экзальтированной метафизики, которую разум отвергает, но которая вызывает к воображению. Известно, что люди вообще гораздо более склонны позволять воображению вводить себя в заблуждение, нежели следовать руководству рассудка, а живость греков делала их более восприимчивыми к этому естественному пороку человеческого ума, чем остальных людей.

Пифагорец **Оккел из Лукании** не стал утруждать себя поисками происхождения вещей; он провозгласил, что всеобщее целое существовало всегда, что оно неизменно и никогда не погибнет. Как, — говорил он, — оно могло бы быть разрушено? Силой, находящейся вне его? Разумеется, нет, так как вне целого не существует ничего. Силой, заключенной внутри этого целого? Это невозможно, так как для этого сила должна была бы быть могущественнее самого целого, частью которого она является.

Как и Пифагор, Оккел не утверждал, что материя однородна, однако он полагал, что каждый элемент может превращаться в другой; что, например, когда сухость, составляющая землю, одолевает влагу, содержащуюся в воде, последняя превращается в землю. Древние философы недостаточно остерегались склонности людей обманываться словами и приписывать физическое существование тому, что слова лишь обозначают. Они создавали самостоятельные сущности из того, что является лишь абстракциями, порождениями нашего ума; этим они продемонстрировали, насколько плохими метафизиками они были, хотя их философия почти полностью и состояла из метафизических рассуждений. Они рассматривали как реально существующие сами по себе: тепло, холод, сухость и влагу. Однако сухость — это лишь отсутствие влажной стихии; тепло — лишь присутствие огня или, возможно, разреженной, возбужденной материи, превращенной стремительностью движения в то, что мы называем огнем; холод же есть отсутствие этой субстанции или её наличие в слишком малом количестве. Таким образом, существуют вещества горячие, холодные, сухие и влажные; но не существует таких вещей, как «тепло», «холод», «сухость» и «влага» сами по себе.

Парменид Элейский, общавшийся с пифагорейцами, так же, как и Оккел, постулировал вечность всего сущего в прошлом. Но, будучи менее последовательным, он отрицал его вечность в будущем и считал, что мир должен погибнуть — как будто превращение чего-то в ничто менее невозможно, чем возникновение чего-то из ничего. Он признавал только два элемента: огонь и землю, считая их началами всего: землю — в качестве материи, а огонь — в качестве творца и созидателя. Но если он учил вечности всего сущего, почему он позволил себе последовать заразительному примеру других философов и принялся искать первоначала вещей? Не существует первоначала у того, что не имело истока, или, что то же самое, не существует причины начала у того, что никогда не начиналось.

Зенон Элейский настаивал на том, что в природе не существует пустоты. В остальном же он направил свою проницательность на упорядочивание некоторых операций нашего разума, и в этом проявил мудрость, не пытаясь вознестись выше способностей разума. Именно он первым превратил рассуждение в искусство, подчинив его формам, которые наглядно демонстрируют его правильность или ошибочность.

Левкипп признавал существование пустоты: он вообразил атомы — составные первоначала всего сущего. По всей видимости, именно он подсказал Демокриту и Эпикуру основные идеи их систем. Стоило только найти эти атомы, как воображению оставалось лишь наделять их по своему вкусу формами, которые казались ему наиболее подходящими для рождаемых им причуд; заставлять их вращаться в вихре, сближаться, отталкиваться, зацепляться друг за друга и соединяться. Именно так создавались миры — или, вернее, именно так человеческий разум растрачивался на умозрительные построения, столь же ложные, сколь и пустые, которые при этом именовали философией. Как же случилось, что любовь к мудрости оказалась столь немудрой и столь малополезной для людей?

Эмпедокл из Акраганта был великим поэтом, и утрата его трудов должна вызывать у нас глубокое сожаление. Древние, не страшась сравнений, ставили его в один ряд с Гомером. Возвы-

шенность его ума и блеск воображения, несомненно, придавали его поэзии величественность слога и красоту мысли. Как мыслитель, предаваясь общему для античных философов безумству и стремясь открыть происхождение и первоначало вещей, он вообразил атомы — круглые, схожие между собой и тончайшие частицы; как поэт же, он заставил их соединяться и разделяться под воздействием любви и вражды. К этим идеям, уместным скорее в поэзии, чем в физике, он добавил заимствованные из пифагорейской школы представления об иерархии разумных сущностей, стоящих выше человека, и о переселении душ; об идеях, которые Пифагор перенял в Египте и которые в незапамятной древности перешли из Индии к египтянам. Подобно индийцам, он признавал существование вселенской души, но при этом населял небеса богами и гениями. Это было излишним умножением сущностей: ведь если великое Целое обладало душой, проникающей во все его части, то к чему были все эти прочие частные души?

Анаксагора считают первым, кто отделил божество от материи, однако крайне сомнительно, чтобы у древних когда-либо существовало представление об абсолютно нематериальных субстанциях, хотя они и использовали слова «душа» и «дух». Под этими терминами они понимали лишь легкое дуновение или тончайший огонь: они лишь утончали материю, но не исключали её вовсе. Декарт, пожалуй, стал первым, кто представил дух в чистом виде, отрицая в нем любые качества, присущие телу, не исключая даже протяженность.

В остальном же Анаксагор проложил тот запутанный и тупиковый путь, на котором суждено было затеряться всем философам, искавшим первоначала вещей. Он нашел их в *гомеомериях*, или подобных частицах. Долгое время они оставались беспорядочно смешанными или рассеянными, пока разум не соединил подобные частицы с себе подобными; так возник порядок, и явился мир. Воздух образовался из воздушных частиц, вода — из множества водных, а земля — из множества земных. Именно частицы плоти сформировали живую плоть животных, а также кровяные частицы, сформировавшие их кровь.

Понятно, что именно привело Анаксагора к такому выводу. Подобно другим философам, он отрицал саму возможность возникновения чего-либо из ничего. Однако он не занимался наблюдениями за природой и не обладал познаниями в химии, а потому не мог представить, что различные вещества могут получаться в результате сочетания начал или материй, которые не имеют с этими веществами никакого сходства.

Демокрит был очень ученым человеком: все его познания привели лишь к тому, что он, с некоторыми изменениями, породил систему Левкиппа. Атомы, блуждающие в пустоте, при своем соединении становятся первоначалами тел. Сами тела могут разлагаться, но атомы уже не могут: их твердость делает их неделимыми и неразрушимыми. Все, что способно разлагаться, само по себе является составным; следовательно, оно не является первоначалом, но само имеет своим началом то, из чего оно состоит.

Сократ по праву заслужил звание философа, поскольку он сосредоточился на поиске нравственных истин и с одинаковым презрением отвергал пустые спекуляции произвольной физики и безумной метафизики. Далекий от притязаний на знание истоков и подробностей возникновения вещей, он настаивал на том, чтобы изучение астрономии, геометрии и математики не выходило за рамки практической пользы этих наук для повседневной жизни. А так как в его времена еще не осознавали всей полноты их полезности, он неизбежно заключил эти науки в слишком узкие границы. Если он и заслуживает порицания, то лишь потому, что, будучи врагом софистов, сам сделал свою диалектику *софистической* и *придирчивой*; потому что он заводил беседу с каждым встречным и донимал их каверзными вопросами, чтобы в конечном счете довести их рассуждения до абсурда; потому что он обращался к гражданам, которые считались самыми мудрыми, и заставлял их признать, что они бесконечно далеки от той мудрости, которую им приписывали и которой они сами хвастались; потому что он лишь расспрашивал других, а затем высмеивал их ответы, никогда не раскрывая собственных мыслей. С такой **склонностью к унижению людей** — склонностью, столь чуждой снисходительности истинной

мудрости, — он неизбежно должен был нажить себе массу врагов, и известно, как в конце концов он пал их жертвой.

Возможно, их ненависть не была единственной причиной его смерти. Совершенно очевидно, что он был суеверен и верил в божественные откровения и гадания. Поэтому его обвинили не в атеизме, а в том, что он не верит в богов своего отечества и вводит новые божества. Этот последний пункт обвинения мог иметь под собой основания. Религия греков состояла из празднеств, игр и обрядов; будучи чуждой любым догмам о духовности, она радовала воображение, а не терзала его. Афиняне могли опасаться — как впоследствии опасались и римляне, — что к ним проникнут мистические, заумные и софистические идеи, способные разжечь воображение, сделать людей фанатичными и мрачными и посеять среди граждан семена тех бесконечных распрей, которые сотрясали Грецию во времена Поздней империи. Таковы были религиозные идеи, переданные из Индии в Египет, а из Египта — тем грекам, что отправлялись в те края на поиски мудрости. Для философов они не были лишены привлекательности, поскольку обладали утонченностью и некоей **пустотой, напоминающей глубину**, а также давали уму пищу для трудоемких размышлений. Очевидно, Сократ не предостерегал своих учеников от этих идей, так как они легли в основу учения Платона; и в том, что он сам принял некоторые из них, меня убеждает формула, которую он использовал в клятвах. Вместо того чтобы клясться Юпитером, как это делали все греки, он клялся гусем или собакой. Эту формулу принято считать шуткой, я же нахожу её весьма серьезной. Полагаю, что под гусем подразумевался ибис — обожествленная птица Египта, а под собакой — Анубис, «лающий бог» египтян,³ как выражались поэты: *Latrator Anubis* (Овидий, «Метаморфозы», кн. IX, ст. 692; и Вергилий, «Энеида», кн. VIII, ст. 698). Известно, что в Риме суровые гонения на египетские суеверия и культ Сераписа предшествовали преследованиям христиан.

³ Отрывок из Платона не оставляет в этом сомнений: он заставляет Сократа клясться собакой, почитаемой в Египте: *Μὰ τὸν κύνα τὸν Αἰγυπτίων θεόν.* («Горгий».)

При жизни у Сократа были почитатели, однако, судя по всему, в целом он пользовался не слишком большим уважением. Бедняк в лохмотьях, бегающий босиком за прохожими, останавливающий их и осыпающий вопросами; человек, который против их воли прямо посреди улиц и площадей читал им нотации, корил их за пороки и заблуждения, за страсть к наживе и то, как дурно они распоряжаются своим богатством; этот человек, которого жена поколачивала у всех на виду на рыночной площади, в Афинах наверняка казался большинству лишь объектом для насмешек — точно так же, как это было бы в Лондоне или Париже. Его часто били, таскали за одежду и публично осмеивали те, чье терпение истощали его бесконечные расспросы. И этот человек, который при жизни определенно был окружен куда меньшим ореолом славы, чем многие другие философы; этот человек, не написавший ни строчки, пока не оказался в темнице, где он переложил в стихи несколько басен Эзопа и сочинил гимн Аполлону (который, судя по всему, никто не стремился сохранить); этот человек, от которого не осталось ничего, кроме записей некоторых его бесед, собранных учениками и приукрашенных изяществом их слога, — именно он после своей смерти стал почитаться как величайший из философов, а порой и как первый среди людей. Ему воздвигли святилище, названное Сократионом, и поклонялись как божеству. Откуда же взялась столь великая слава после столь глубокого унижения? Все дело в том, что он стал мучеником за философию, а всё философское сообщество сочло за честь обрести собственного мученика. Когда человек умирает за свои убеждения, сама его смерть заставляет верить, что эти убеждения имеют исключительную важность; ведь казнь поражает воображение куда сильнее, чем любые логические доводы, и она служит доказательством даже в отсутствие любых иных свидетельств; дело в том, что если казненный ничего не написал, воображение придает его оставшимся неведомыми размышлениям ту ценность, которую само пожелает; дело в том, что почти все философы, блиставшие в Греции после Сократа, вышли из его школы или имели учителей, принадлежавших к этой школе; дело в том, что, как следствие, его стали считать главой всех философских

течений, на которые разделились люди просвещенные или стремящиеся казаться таковыми, и прежде всего двух наиболее прославленных — академиков и стоиков; дело в том, что все последователи этих школ тешили свою гордыню и возвышали самих себя, осыпая Сократа самыми торжественными похвалами и представляя его смерть как печать, скрепляющую их учение; и, наконец, дело в том, что **одна из этих сект, платонизм, со временем стала своего рода мистической религией**, а Сократ, если можно так выразиться, стал святым и покровителем этой новой веры. Добавим, что он не мог не стать предметом почитания даже для христиан, так как во II веке нашей эры философы-платоники, гордившиеся тем, что возводят свое учение к Сократу, приняли христианство и стали его полезными апостолами.

Хотя Сократ и пытался вернуть философию к простоте, в которой заключается истинная мудрость, ему выпало огорчение видеть, как самый блестящий и пленительный из его учеников теряется в химерах, принятых в школах Пифагора, и он мог предвидеть, что в один день и сам будет представлен как глава школы, во всём противоречащей его собственным принципам.

Обвиняют ли **Платона** в том, как ему это приписывают, что он купил труды учеников Пифагора, дабы уничтожить их, предварительно извлекая из них самую суть, или же его взгляды стали результатом изучения Тимея и бесед с Евритом Тарентским и Архитом — в любом случае его можно считать пифагорейцем.

Подробное изложение его доктрины заняло бы здесь слишком много времени. При нём всё стало мистическим: мир чувственных вещей перестал существовать, так как он подвержен постоянным изменениям; реальным существованием стали обладать лишь идеи — образы вещей, — поскольку эти образы пребывают в божественном разуме, где они неизменны. Большое дерево было великим лишь потому, что соотносилось с умопостигаемой идеей величия; кровать существовала лишь благодаря своему сходству с первообразом кровати, а любая вещь была прекрасной лишь в силу своей связи с идеей красоты. Даже нравственное прекрасное было подчинено этому

метафизическому жаргону. Однажды Диоген вошел в школу Платона, когда тот рассуждал об идеях и говорил о «стольности» и «чашности». «Я прекрасно вижу стол и чашу, — сказал киник, — но что касается стольности и чашности, я их нигде не вижу». Платон ответил Диогену с презрением, однако презрительные выражения — это еще не аргументы. Идеи вовсе не являются прообразами чувственных предметов; напротив, именно чувственно воспринимаемые объекты являются прототипами идей: только они воздействуют на наши органы чувств, только они вызывают в нас ощущения, которые передаются нашему разуму и запечатлевают в нем идеи. Предположим, что я еще ничего не знаю о столе: стол впервые попадает в поле моего зрения; он вызывает во мне ощущение, которое, будучи соотносено с моим рассудком, запечатлевает в нем идею стола.⁴

⁴ Вот принципы, на которых зиждется почти всё учение Платона, и все эти принципы отвергаются здоровой философией. Он признает метемпсихоз. Души, говорит он, существовали отдельно от тел еще до того, как приняли человеческий облик, и обладали разумом. Αἱ ψυχὰὶ καὶ προτερὸν, πρὶν εἶναι ἐν ἀνθρώπῳ εἶδει, χωρὶς σωμάτων, καὶ φρόνησιν εἶχον. (Федон, т. I, изд. Генриха Стефана, с. 76).

Смерть — это сон, за которым следует пробуждение, то есть возрождение (с. 73). Отягощенная человеческим телом, душа вспоминает то, что знала, будучи в бестелесном состоянии (с. 76). Возвращаясь к жизни, мы полагаем, что учимся, а на самом деле лишь вспоминаем. Ἡμῖν ἡ μαθήσις ἐκ ἄλλο τι ἢ ἀναμνήσις τυγχάνει ἔσα. Доказательством служит то, что если человека правильно расспросить, он дает верные ответы на поставленные вопросы; а подобные ответы были бы невозможны, если бы их не внушало воспоминание (с. 72 и 73).

(В этом заключается принцип врожденных идей — принцип, который опроверг Локк; он столь пагубен, я не скажу для прогресса философии, но даже для первых её шагов на этом поприще, что неизбежно сбивает её с пути на всем протяжении дальнейшего движения).

После смерти чистые души живут в обществе богов (с. 81); прочие же блуждают вокруг своих могил и даже остаются видимыми, так как не полностью очистились от телесной скверны. (Как видим, Платон верит в призраков). Души остаются блуждающими и скитающимися до тех пор, пока не переселятся в другие тела, подобные — по крайней мере, своими природными склонностями — тем, которые они одушевляли прежде. (Там же).

Платон считает нелепостью останавливаться на вторичных причинах, то есть на тех, что воспринимаются чувствами. Он требует, чтобы мы сосредоточивали наш разум лишь на первопричине — той, что недоступна ни одному из наших чувств (с. 97 и след.).

Пожалуй, ни один человек не родился с умом более живым, точным, обширным и проницательным, чем **Аристотель**, ученик Платона. Он не обладал ни поэтическим воображением, ни пленительным изяществом, ни чарующим стилем своего учителя; его даже можно упрекнуть в некоторой сухости, но именно благодаря ей он был более пригоден для рассмотрения вопросов, относящихся к области разума. Его гений проявлялся в самих концепциях, тогда как гений Платона — в деталях и выразительности. Один умел искусно рисовать словами, другой же обладал даром видеть глубже. Поражает широта его познаний: он давал уроки философам, поэтам и ораторам, он давал их целым государствам. Но ему не посчастливилось превратить заниматься физикой при помощи метафизики, а не на основе наблюдений. Однако однажды он все же обратился к наблюдениям и создал шедевр, который ценится и по сей день, даже после всех открытий ученых нашего времени — свою «Историю животных». Впрочем, прежде чем осуждать его ошибки, нужно быть уверенным, что мы его понимаем, а он пишет туманно. Его труды, хоть и объемны, лишены подробных разъяснений: это лишь тезисы, пояснения к которым он приберегал для лекций в своей школе. Именно это он ответил Александру, когда царь посетовал, что философ опубликовал свое учение и сделал

Он проводит различие между тем, что существует вечно (то есть не было рождено), и тем, что рождено и что, по его мнению, не обладает реальным существованием. Первое постигается интеллектом и всегда пребывает в неизменном состоянии; второе же лишь предполагается на основе мнения в сочетании с чувственным восприятием, не подвластным разуму. Поскольку оно рождено, оно тленно и не имеет истинного существования. (Тимей, с. 27 и 28.)

Бог придал миру сферическую форму, потому что она — самая прекрасная. Он наделил его душой. Он создал из него совершенное живое существо, состоящее из совершенных частей: Ζῶον τέλειον ἐκ τελέων τῶν μερῶν (с. 32). Он сделал его богом, пребывающим в блаженстве: Εὐδαίμονα θεὸν αὐτὸν ἐγεννήσατο (с. 34).

Здесь Платон впадает в противоречие со своими собственными принципами. Раз этот мир рожден, раз он воспринимаем чувствами, значит, он тленен, что само по себе является несовершенством. Он не только не является богом, но даже не обладает истинным существованием. Он — лишь несовершенный и призрачный образ умопостигаемого мира, мира совершенного и нетленного, который не подвластен чувствам; короче говоря, он — лишь подобие вечной, неизменной и единственно существующей идеи-архетипа, по образцу которой Бог его и создал.

общим достоянием знания, которые сам полководец в разгаре своих завоеваний ценил выше власти над миром.

Платон — тот из всех античных философов, чьим грезам выпала самая удивительная судьба. Его школа, со временем переместившаяся из афинских садов в стены города, основанного в Египте Александром, вернулась в ту самую колыбель, откуда ее когда-то вывел Пифагор, чтобы воссиять там с новой силой. Там его взгляды слились с древним египетским богословием; они смешались с религиозными воззрениями язычников Восточной империи и повлияли на убеждения некоторых отцов греческой церкви. Даже в наши дни эти идеи продолжают воздействовать на умы людей, которые мало интересуются философией; подобно тому, как это было в Египте и в школе Пифагора, они прячутся и облачаются тайной в мрачных пристанищах иллюминатов.

Другие философские школы Древней Греции не могли похвастаться ни столь мощным влиянием на умы, ни столь долгой историей. Но поскольку они отличались друг от друга лишь оттенками в своих способах заблуждаться, едва ли стоит сожалеть о том, что судьба не оказалась к ним более благосклонной. Все они упорно избирали главным объектом своих изысканий то, что человек познать не может: первопричину, происхождение мира и природу души. Все они единодушно отвергали как нечто недостойное внимания то единственное, что может быть предметом наших исследований и наблюдений, — то есть всё, что постигается нашими чувствами.

Однако среди основателей многочисленных сект двое всё же заслуживают того, чтобы их выделили особо, поскольку они порой снисходили со своих заоблачных умозрений, чтобы заняться делами себе подобных. **Зенон Китийский**, который хотел возвысить человека до самого божества, стал автором этического учения, которое, кажется, вовсе не предназначено для существ, наделенных чувствами; он стал главой стоиков — самых возвышенных безумцев, которыми когда-либо могло гордиться человечество. **Эпикур** же привил любовь к добродетели, представив её своим ученикам в образе наслаждения — насла-

ждения, которое было не чем иным, как упоительным спокойствием души, свободной от угрызений совести и суеверий. Демокрит называл это счастливое спокойствие словом *euesto* (ἐνέστω), и, похоже, Эпикур и в морали, и в космогонии лишь комментировал труды этого философа из Абдеры.

Два противоположных порока создавали непреодолимое препятствие для развития подлинной философии у греков. Первым было почти благоговейное почтение учеников к мнению своего учителя — почтение, которое мешало им искать, принимать и даже признавать любую истину, не вписывающуюся в догмы их школы, а также не давало замечать и отвергать заблуждения, освященные авторитетом наставника. Вторым пороком было тщеславное желание основать новую школу, не открыв при этом ни новых истин, ни даже новых заблуждений. Удовлетворить эти амбиции можно было лишь одним способом: маскируя старые идеи непривычными выражениями и обманывая людей словами, чтобы те не могли узнать уже известную суть вещей. Тем самым они делали еще более туманным то, чему и в других школах зачастую уже слишком недоставало ясности.

Но если те, кто превратил звание философа в ремесло, лишь затуманивали саму философию — то есть разум, — то в трудах поэтов, историков, ораторов и вообще всех литераторов она, напротив, заметно развивалась и сияла ярким светом. Этим авторам не было никакого смысла извращать саму способность мыслить и доводить её порой до состояния, напоминающего бред.

Было бы проявлением неблагодарности не признать, что и те, кого называли философами, также оказали человеческому разуму великие услуги. Большинство из них обладали блестящим умом и выдающимися талантами; многие из них, в вопросах, не имевших отношения к созданным ими системам, которые они стремились защищать, утвердили великие истины. Их можно сравнить с теми безумцами, которые поражают здравомыслием своих рассуждений, пока разговор не заходит о предмете их помешательства.

Однако, поскольку ошибочные взгляды философов в той или иной мере влияли на умы — ведь наступило время, когда каждый просвещенный человек считал своим долгом принадлежать к какой-либо философской школе, — для возвращения разуму его истинной чистоты требовалось полностью разрушить само здание философии. Нужно было, чтобы всякое сознание, выражаясь словами Локка, уподобилось «чистой доске».

Эту революцию совершили варвары. Всё было низвергнуто, всё разрушено: Римская империя, памятники искусства, сокровищницы человеческих знаний. Казалось, на всем пространстве Европы не осталось иных идей, кроме идей завоевания, разорения, угнетения, тирании, нищеты и рабства. Эта часть земного шара была разделена между множеством сеньоров, сюзеренов или вассалов — извечных врагов, разделенных самой непримиримой ненавистью, которую только может породить корыстный интерес. Каждая деревня стала оплотом власти, каждое поле — театром войны, казавшейся бесконечной.

Но силы тысяч и тысяч соперников были неравны. Слабым в итоге пришлось уступить сильным, а наиболее могущественные должны были воспользоваться своей победой, чтобы еще больше укрепить свою власть, и чтобы эта сдерживающая власть вернула на обширные территории мир, который столь долго оставался им неведом.

Народы, вновь обретя спокойствие, должны были прежде всего с большим усердием развивать ремесла первой необходимости. Когда насущные потребности были бы удовлетворены, неизбежно возникло бы стремление к излишествам; и в кругу этих излишеств нашлось бы место для изящных искусств, потребности мыслить, наблюдать, познавать, потребности в отдыхе и одновременно в просвещении — как через работу собственного ума, так и через плоды трудов окружающих. Такое положение дел должно было привести к возрождению искусств и философии — философии, которой следовало бы пребывать в согласии с разумом, поскольку она стала бы плодом обращения человека к самому себе, наблюдений за другими людьми и природой, а также размышлений, постепенно внушаемых искусствами по мере их продвижения к совершенству.

Несомненно, всё это происходило бы с той естественной медлительностью, которую природа соблюдает во всех своих трудах, если бы наши предки, вернувшись к благам мирной жизни, не имели иного наставника, кроме своих чувств, разума и окружающих предметов. Это преобразование произошло бы быстрее и, возможно, не менее успешно, если бы они сначала обнаружили и изучили шедевры греческой античности, не будучи знакомы с её философами. Однако разуму суждено было вновь вступить на темные тропы, как только он принялся бы вновь искать свет. К несчастью, еще до того, как люди получили какое-либо представление о древней литературе, и прежде, чем люди оказались способны оценить её истинное достоинство, они вновь обрели самого туманного из всех философов, чьи труды пощадило время — Аристотеля, ставшего ещё более непонятным из-за комментариев арабских мыслителей. Другое несчастье заключалось в том, что первыми исследователями едва возрождавшихся наук стали богословы, чьё собственное учение в ту пору было соткано из обломков философии Платона. Они принялись за изучение Аристотеля лишь для того, чтобы насильно сделать его своим единомышленником-богословом; от него требовали подтверждения любым схоластическим фантазиям, которые рождались в их головах. Ему приписывали всё новые и новые ухищрения всякий раз, когда требовалось заставить замолчать оппонентов — если, конечно, богословов вообще возможно заставить замолчать.

Аристотель, искажённый их толкованиями и комментариями, породил искушённых в пустых спорах демагогов; Платон же, с которым познакомились позже, сформировал ряды мрачных или неистовых мистиков. Весь интеллектуальный пыл уходил лишь на то, чтобы комментировать, запутывать и коверкать мысли этих двух мыслителей. В итоге Европу наводнили перипатетики, от которых отрёкся бы сам Аристотель, и платоники, которых не признала бы ни одна подлинная школа Платона. Учение перипатетиков возобладало, обретя такой же священный статус, как и сама религия. Именем Аристотеля сыпали угрозами, отлучали от церкви, преследовали инакомыслящих, точили мечи и раздували пламя костров.

Казалось, человеческий разум навеки обречён влачить оковы, наложенные на него фанатичными учёными, мнившими себя философами. Тем не менее, сперва в Италии, а затем и во всех остальных странах Европы выдающиеся умы начали посвящать себя более изящным занятиям. Люди изучали древние языки и читали авторов, чей гений прославил их; современные языки избавлялись от своей грубости, пробуждалась искренняя любовь к словесности. Вслед за этой любовью пришел художественный вкус, и те, кто посвятил себя литературе, с презрением отвергали схоластические софизмы. Ученый мир, прежде сосредоточенный лишь на теолого-философских изысканиях, разделился: одни остались верны прежним занятиям, другие обратились к изящной словесности. Последняя обладала особым очарованием, а потому обретала всё больше сторонников.

Редкость и дороговизна книг в свое время способствовали торжеству ученых-схоластов. Послушные ученики неизбежно питали своего рода религиозное благоговение перед мнениями, записанными в тетрадях их учителей, ведь они не знали иных трудов, в которых эти взгляды подвергались бы сомнению. Но было изобретено книгопечатание; книг стало великое множество, и приобретать их теперь можно было за небольшие деньги. Студент, который только что с восхищением внимал лекциям титулованного наставника, за порогом школы находил книги, где те же самые уроки убедительно опровергались. В его душе рождалось сомнение, подготавливая почву для избавления от заблуждений.

Любознательность становилась всё более всеобщей и охватывала всё более широкий круг предметов. Предметами дискуссий стали даже те вопросы, спорить о которых прежде считалось преступлением; с этого момента любой авторитет терял свою силу, если ему не хватало опоры в виде доводов разума. Ни одно из занятий, которыми бывают поглощены люди, не оставалось в пренебрежении; **стали часто посещать мастерские, где наблюдали за опытами**, необходимыми для практического применения ремесел. Об этих опытах, проводимых людьми, которые сами мало склонны к размышлению, начали

рассуждать; стали ставить и другие опыты, требовавшие большего усердия, знаний, подготовки и мастерства и приносившие более значительные результаты. Исследователи **спускались в шахты** и изучали в многообразии слоев ту верхнюю кору нашего земного шара, которая единственная доступна для наших наблюдений. Уединение сельской жизни скрашивали изучением древних останков, накопленных в почве глобальными переворотами, а также растений, покрывающих землю, и животных, которых она кормит.

Были изобретены линзы, приблизившие к нам небеса, и небо стало познаваемым; другие линзы явили взору существа, которые прежде всегда ускользали от него из-за своей ничтожной величины. Вооружившись увеличительным стеклом, изумленный наблюдатель открыл целый новый мир на обычном листке. Математические науки совершенствовались, и движение небесных тел подчинилось расчету; навигация стала более научной и легкой. Была исследована почти вся поверхность земного шара, ни одно из его богатств не осталось скрытым, и человека узнали во всех положениях, в которые только может поставить его природа. Между всеми народами установилась тесная связь, и ни одно открытие, сделанное в какой-либо стране, не оставалось долго обособленным, вскоре пополняя общую массу знаний всех остальных народов. Никогда еще не было собрано воедино столько истинных идей: это был период, наиболее благоприятный для прогресса философии, которую мы определили как применение здравого рассудка к великому множеству идей. Воспользовались ли люди современности в должной мере теми сокровищами, которыми они обладают, и тем колоссальным объемом знаний, что они накопили? Полагаю, что еще нет; но они уже находятся на этом пути.